



## **А. Л. ЗОРИН**

### **Кормя двуглавого орла...**

#### **Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII — первой трети XIX века**

<Фрагменты>

<...> 17 марта 1812 г. Александр I вызвал своего государственного секретаря и после многочасовой и в высшей степени эмоциональной аудиенции, сопровождавшейся высочайшими слезами и драматическими эффектами, сместил его со всех должностей. В тот же вечер Сперанский был отправлен с полицией в Нижний Новгород. Русская история богата случаями внезапных падений вчера еще всесильных фаворитов, тем не менее опала ближайшего сотрудника и «правой руки» императора произвела оглушительное впечатление на современников. Ф. Ф. Вигель писал в своих воспоминаниях, что «повесть об его (Сперанского. — А.З.) изгнании все еще остается для нас загадкой и вероятно даже потомством нашим не будет разгадана. В преданиях русских она останется то же, что во Франции история о Железной маске». С этой оценкой согласился и первый биограф Сперанского М. А. Корф, который был лично знаком со своим героем в последние годы его жизни.

В нашем распоряжении не так много документов, позволяющих судить о том, что произошло за закрытыми дверями императорского кабинета: оправдательные письма Сперанского Александру, его рассказ Ф. П. Лубяновскому<sup>1</sup>, зафиксированный в «Воспоминаниях» последнего, несколько отрывочных и противоречащих друг другу высказываний императора. Что касается подробнейших «Воспоминаний» Я. И. де Санглена, начальника секретного департамента Министерства полиции и активного участника развернутой против Сперанского интриги, то они ненадежны и, при всей их исключительной ценности, должны использоваться с осторожностью. Воспоминания эти были написаны более чем через тридцать лет после упоминаемых происшествий и после смерти Сперанского, закончившего свою жизнь уважаемым сановником. Первоначально де Санглен отказывался передать свои записки биографу Сперанского М. А. Корфу, ссылаясь на обязательства перед

Александром, от которых его мог освободить только царствующий государь. Заинтригованный Корф действительно попытался добиться от императора соответствующего разрешения, но Николай I, относившийся к де Санглену с крайней брезгливостью, и слышать об этом не захотел. Тем не менее нуждавшийся, по-видимому, в самооправдании де Санглен буквально завалил Корфа своими бумагами. Понятно, что постоянные попытки де Санглена отделить себя от участников интриги, продемонстрировать свою небывалую проницательность и показать себя рыцарем без страха и упрека, смело возражающим и своему непосредственному начальству, и именитым придворным, и самому государю, не заслуживают ни малейшего доверия. Однако сама информация, которую он сообщает об обвинениях, выдвигавшихся против Сперанского его противниками, дополняя другие известные нам источники, ничем им не противоречит. О тайных беседах Александра и де Санглена пишет, в частности, информированный Греч. В дневниках Л. И. Голенищева-Кутузова<sup>2</sup> указано, что после ссылки государственного секретаря де Санглен говорил ему, что «преступление Сперанского есть измена». «Санглен в каком-то восторженном бешенстве», — добавил автор дневника. Это «восторженное бешенство» скромного чиновника, допущенного на вершины власти, хорошо объясняет его необыкновенную память на все детали давнего происшествия, оказавшегося вершиной его карьеры. Поэтому для него и было так важно донести все случившееся с ним для потомства, представив собственную роль в возможно более благоприятном свете. Разумеется, Александр, и вообще, мягко говоря, не склонный к излишней откровенности, менее всего раскрывал перед де Сангленом свои заветные мысли. Скорее, он воспроизводил основные мотивы поступающих к нему доносов, проверяя реакцию собеседника и формируя выгодную для себя версию событий.

В источниковедческом плане наибольшее значение имеет оправдательное письмо, отправленное Сперанским императору 4 февраля 1813 г. из Перми. Известное М. А. Корфу только по испорченным и неполным копиям — его подлинный текст был обнаружен и введен в оборот позднее Н. К. Шильдером, — письмо это заслуживает доверия по крайней мере в одном отношении. Стремясь оправдаться, Сперанский с максимальной полнотой перечисляет все возможные обвинения, как те, которые он услышал от императора, так и те, о которых он мог только догадываться. «Я не знаю с точностью, в чем состояли секретные доносы, на меня взведенные, — писал он. — Из слов, кои при отлучении меня ваше величество сказать мне изволили, могу только заключить, что были три главные пункта обвинения: 1) что фи-

нансовыми делами я старался расстроить государство; 2) привести налогами в ненависть правительство; 3) отзывы о правительстве».

По первым двум пунктам Сперанский указывал, что государственные доходы за то время, которое он руководил финансовой системой страны, выросли более чем в два раза, а увеличение налогов, неизбежное для государства, обремененного огромным бюджетным дефицитом и готовящегося к войне, никогда не может быть популярной мерой. Доводы эти выглядят не только бесспорными, но и самоочевидными: невозможно представить, чтобы Александру они могли не быть известны заранее. Соответственно выдвинутые им претензии были риторическим прикрытием подлинных мотивов его решения. По-видимому, император и не очень стремился скрыть это от своего собеседника, поскольку, прощаясь, он сказал ему, что «во всяком другом положении дел, менее настоящем, он употребил бы год или два, чтобы точнее рассмотреть и проверить» дошедшие к нему сведения. Поэтому помимо опровержения сформулированных обвинений Сперанскому приходилось отвечать и на другие, которые могли остаться невысказанными. Самыми зловецкими были распространенные в общественном мнении и как бы подтвержденные его опалой подозрения, что он действовал в интересах Франции.

«Сие жестокое предубеждение о связях моих с Франциею, быв поддержано эпохой моего удаления, составляет теперь самое важное и, могу сказать, *единственное пятно* моего в народе обвинения, — писал Сперанский в письме. — Вам единственно, всемилостивейший государь, вашей справедливости принадлежит его изгладить. Смею утвердительно сказать: в вечной правде перед Богом, вы обязаны, государь, это сделать. <...> Финансы, налоги, новые установления, все дела публичные, в которых я имел счастье быть вашим исполнителем, все оправдается временем, но здесь чем я оправдаюсь, когда все покрыто и должно быть покрыто тайною». Речь в этих полных драматизма строках идет о том, что на протяжении нескольких лет в обязанности Сперанского входило ведение секретной корреспонденции, проходившей через его агента К. В. Нессельроде<sup>3</sup>, которому удалось установить в Париже контакты с Талейраном. Переписка эта велась в обход официальных дипломатических каналов, и о ее существовании не знали ни канцлер Румянцев, ни русский посол во Франции А. Б. Куракин. Именно с этой перепиской связан и вполне реальный служебный проступок Сперанского, о котором он подробно пишет в письме, — несанкционированное чтение материалов перлюстраций корреспонденции иностранных дипломатов.

Однако это не очень значительное превышение государственным секретарем своих почти необъятных полномочий не могло стать

причиной его удаления, поскольку во время роковой аудиенции Александр ничего о нем не знал. Соответствующие документы вместе с сопроводительным письмом были посланы ему самим Сперанским ночью после отставки. Это признание и продемонстрировал император впоследствии министру юстиции И. И. Дмитриеву как подтверждение виновности Сперанского, который «простер наглость свою даже до того, что захотел участвовать в государственных тайнах». Парадоксальным образом деятельность Сперанского, направленная на корректировку профранцузской линии официальной дипломатии, могла выглядеть в глазах недостаточно информированных людей как проявление его особой симпатии к Франции. Однако Александр, возложивший на государственного секретаря подобные обязанности, не мог не знать истинного положения вещей. «Неприятели мои могли сомневаться в политических моих правилах, могли думать о привязанности моей к французской системе, но ваше величество не могли колебаться», — говорилось в пермском письме.

Десятью месяцами раньше Сперанский послал императору свое первое оправдательное письмо из Нижнего Новгорода. Оно много короче пермского и не содержит анализа выдвинутых обвинений, однако в нем можно найти указание на то, в чем сам опальный фаворит видел причину своего падения. «Первым и единственным источником всего» назван здесь подготовленный им план государственных преобразований. В пермском письме он напоминает, что составлял свои законодательные проекты по поручению государя и в тесном сотрудничестве с ним, что они получали одобрение других сановников и были направлены только на усовершенствование системы государственного управления, но ни в коей мере не на ограничение прерогатив монаршей власти <...>. По свидетельству де Санглена, Александр говорил ему о своем недовольстве преобразовательными замыслами Сперанского, а непосредственно в день решающего объяснения даже заявил, что тот «подкапывался под самодержавие». Однако, даже если принять эти показания на веру, подобные формулировки скорей были призваны оправдать готовящееся устранение государственного секретаря, чем выражали искреннее мнение императора. Если в разговорах с де Сангленом, Дмитриевым, ректором Дерптского университета Г. Ф. Парротом Александр упоминал об измене, то более приближенным лицам — А. Н. Голицыну, Н. Н. Новосильцеву, К. В. Нессельроде — он давал понять, что не верит в виновность Сперанского. В характерном для него стиле он и этим собеседникам говорил совершенно разные вещи. В частности, Новосильцеву в Свенцянах он заметил, что Сперанский не был предателем и виноват только по отношению лично к нему, «заплатив за доверие самой черной, самой ужасной неблагодарностью».

По мнению Н. К. Шильдера, именно скептические суждения потерявшего осторожность государственного секретаря об императоре и стали подлинной причиной опалы, а все произошедшее 17 марта 1812 г. было «сведением личных счетов оскорбленного мстительного сердца».

Сходной точки зрения придерживался и М. П. Погодин, ссылавшийся на неполноту последующей реабилитации опального фаворита. Император не вернул Сперанскому прежнего расположения, много лет под любыми предлогами держал его вдали от Петербурга, а при встречах всячески избегал разговоров о происшедшем. Однако, зная мстительность Александра и его склонность к мелодраматическим эффектам, трудно сомневаться, что он или никогда не простил бы Сперанскому презрительных отзывов, или должным образом обставил бы ритуал прощения. С другой стороны, смотреть в глаза жестоко и несправедливо обиженному тобой человеку всегда неприятно. Безо всякой иронии можно сказать, что то, что Сперанский был все же возвращен к государственной деятельности, а не кончил свои дни в изгнании, служит к немалой чести императора. Практически все упоминания о подобного рода высказываниях Сперанского восходят в конечном счете к доносам на него, часто содержащим достаточно неправдоподобную информацию. Приведем один пример. Знаменитый отзыв Сперанского об Александре: «Все, что он делает, он делает наполовину. <...> Он слишком слаб, чтобы управлять, и слишком силен, чтобы им управляли» — известен нам через три посредующих звена. Его зафиксировал в своих мемуарах де Санглен, якобы услышавший эти слова от императора, который ссылался на министра полиции Балашова, отряженного следить за государственным секретарем. Из четверых лиц, которым могла принадлежать эта реплика, авторство Сперанского выглядит, пожалуй, наименее вероятным. По словам самого де Санглена, услышав от государя пересказ этого эпизода, он немедленно выразил свои сомнения: «Сперанский, человек умный, как решился он, при первом знакомстве и с кем? — с министром полиции, так откровенно объясняться? Впрочем, та же фраза была сказана прежде о Людовике XV — это повторение». Даже если Александр действительно был столь откровенен с чиновником среднего ранга, почти невозможно допустить, чтобы де Санглен в ответ решился противоречить императору. Скорее, он задним числом вложил себе в уста напрашивающееся возражение. Однако в любом случае его оценку трудно оспорить. Карьера Сперанского началась с самых низов, и прежде чем попасть ко двору, ему пришлось побывать в ближнем кругу нескольких крупных сановников. Нравы среды, где ему приходилось проделывать свой путь наверх, не располагали к простодушию. К тому же Сперанский знал, что окружен

плотной стеной зложелательства и доносов, и даже на этом основании уже подавал несколькими месяцами ранее в отставку, отклоненную Александром. В этих обстоятельствах было бы трудно ожидать от него столь самоубийственной и совершенно бессмысленной откровенности.

В пермском письме Сперанский пытался объяснить императору происхождение слухов о «личных отзывах». «Отчего, спросят, — писал он, — доходили от разных лиц одни вести? Оттого, что сии разные лица составляли одно тело, а душа сего тела был тот самый, кто всему казался и теперь кажется посторонним». Как указывает Шильдер, против этого места «в подлиннике сбоку поставлено карандашом, по-видимому, рукою императора Александра, NB». По мнению М. А. Корфа, речь здесь шла о сестре императора великой княгине Екатерине Павловне. Справедливость этой догадки подтверждается тем, что Сперанский, как уже говорилось, считал главной причиной опалы свой план государственных преобразований, французский перевод которого был передан, по приказанию императора, мужу Екатерины Павловны принцу Ольденбургскому. Того же мнения придерживались и многие современники. Как впоследствии вспоминал тесно связанный с великокняжеской четой Ростопчин, низвержение Сперанского приписывали «В<еликой> К<нягине> К<атерине> и кн<язю> О<льденбургскому>».

Близкий к Сперанскому Ф. Гауеншильд<sup>4</sup> утверждал, что тот приписывал свое падение главным образом князю А. Н. Голицыну. Однако Гауеншильд обсуждал этот вопрос со Сперанским десятью годами спустя, когда он мог изменить свое мнение. К тому же Сперанский вряд ли стал бы кому-либо, кроме самого императора, высказывать свои подозрения в адрес члена царствующей семьи. Да и великой княгини к тому времени уже не было в живых. Роль Екатерины Павловны в кампании, направленной на смещение государственного секретаря, была чрезвычайно значимой, однако Сперанский не догадывался или не хотел догадываться, что непосредственно за спинами окружавших его в последнее время осведомителей и провокаторов стоял сам император (В. А. Томсинов несколько по-другому описывает логику этого процесса: «Громадная по своему размаху сеть интриги против Сперанского захватила Александра, потащила к намеченной не им развязке. И он, вместо того чтобы сопротивляться, вдруг безропотно потащился, сначала пассивно, волочась за другими, но постепенно стал на ноги, пошел сам, обогнал тащивших его и сам потянул их за собою туда, куда лишь недавно тащили его они»). Именно Александр поручил министру полиции А. Д. Балашову и барону Г. Армфельдту<sup>5</sup> собирать на Сперанского компрометирующие материалы и одновременно приказал подчиненному Балашова

де Санглену присматривать за своим начальником. «Мы действовали как телеграфы, нити которых были в руках государя», — заметил де Санглен, и эта его оценка не вызывает никаких сомнений. В свете вышесказанного можно сделать осторожное предположение по поводу одной из самых неясных деталей всей интриги. Как известно, Балашов и Армфельдт предложили Сперанскому составить вместе с ними триумвират, который бы взял управление государством в свои руки. Решительно отказавшись, Сперанский, однако, не донес немедленно об этом разговоре Александру. Более того, у него была назначена какая-то встреча с Балашовым, не явившись на которую, он послал министру полиции извинительную записку, позднее использованную против него. Традиционно этот легкомысленный шаг объясняли нравственной брезгливостью Сперанского. Однако, если допустить, что Сперанский, что было бы совершенно естественно, понимал провокационный характер сделанного ему предложения, но ошибочно полагал, что за этой провокацией стоит великая княгиня, то для того, чтобы вступить в борьбу со столь могущественным противником, он должен был лучше подготовиться и собрать больше данных. Именно из этих соображений он мог не прервать немедленно любые контакты с Балашовым. Иногда, говоря о причинах опалы Сперанского, Александр предпочитал изображать себя самого жертвой обстоятельств. «У меня в прошлую ночь отняли Сперанского», — сказал он Голицыну 18 марта, а уже на следующий день заявил Нессельроде, что «именно теперешние только обстоятельства и могли выудить у меня эту жертву общественному мнению». Разумеется, и здесь император не был безусловно искренен. Вся инициатива в удалении государственного секретаря полностью принадлежала ему самому. Однако некоторая доля истины в этих жалобах все же была.

Отставка Сперанского и назначение на его место Шишкова явились одним из тех символических жестов, на которые Александр всегда обладал исключительным чутьем. Эти кадровые решения обозначали окончание Тильзитской эпохи, когда фигура ненавистного дворянству поповича, вознесенного к подножию трона после Эрфуртской встречи Александра с Наполеоном, эмблематизировала не только пробонапартистский политический курс, но и готовность самодержца править, не считаясь ни с каким недовольством. Теперь, в преддверии решающего столкновения со смертельным противником, император поворачивался лицом к своим подданным. По одному из свидетельств, восходящих к позднему рассказу Сперанского, Александр сказал ему: «У тебя сильные враги, общее мнение требует твоего удаления, только на этом условии соглашаются дать нужные нам деньги, а у меня на руках Наполеон и неизбежная война». Не вполне ясно, пересказы-

вал ли Сперанский слова, произнесенные во время аудиенции, или в таком виде до нас дошла его ретроспективная интерпретация мотивов государя. Трудно сказать, и о каких деньгах шла речь, то ли о военных субсидиях, которые предстояло получить от Англии, то ли о грядущих народных пожертвованиях. Так или иначе, политическая подоплека произошедшего выглядит достаточно прозрачной. «Точно ли Александр был убежден в справедливости высказанных им Сперанскому обвинений и подозрений, или все это была одна только маска перед последним и, может статься, даже перед самим собою, один предлог для удаления от себя во что бы то ни стало, без вида явного неправосудия, человека, которому сам он дал слишком большое влияние? — задавался вопросом М. А. Корф. — Скорее, кажется, последнее».

Это объяснение оставляет, однако, без ответа один существенный вопрос. Для демонстрации смены политического курса было бы достаточно отставки и нового назначения, и такого рода решение вообще не потребовало бы со стороны Александра каких бы то ни было дополнительных объяснений. Запущенная им сложная интрига и чудовищные обвинения, выдвинутые против ближайшего сотрудника, выглядят в значительной степени избыточными. Сам Сперанский без большого успеха пытался угадать, зачем его противникам понадобилось уничтожить его, не ограничившись отстранением от должности. В то же время некоторым из участников интриги удалось проникнуть в замыслы императора или, что гораздо менее вероятно, заразить его собственными идеями.

Де Санглен приводит один из разговоров, якобы состоявшихся у него с Армфельдтом накануне решающих событий. «“Знайτε, — сказал Армфельдт, — виновен ли он или нет, он должен быть принесен в жертву; это необходимо для того, чтобы привязать народ к главе государства и ради войны, которая должна быть национальной”». — Этот разговор, — комментирует де Санглен, — открыл мне тайну, что Сперанский назначен неминуемо быть жертвою, которая под предлогом измены и питаемой к нему ненависти должна объединить все сословия и обратить в настоящей войне всех к патриотизму». Разговор этот так поразил де Санглена, что потом он счел нужным еще раз вернуться к этой мысли: «Государь, вынужденный натиском политических обстоятельств вести войну с Наполеоном на отечественной земле, желал найти точку, которая, возбуждив патриотизм, соединила бы все сословия вокруг его. Для достижения сего нельзя было ничего лучше придумать измены против государства и отечества. Публика — правильно или неправильно — все равно давно провозгласила во всей России изменником Сперанского. На кого мог выбор лучше пасть, как не на него». Снова заметим, что малая достоверность воспоминаний



де Санглена не позволяет окончательно судить, кому именно принадлежала приведенная им точка зрения. Однако выразительно очерченная им смысловая констелляция — «жертва», «измена», «всеобщая ненависть», «объединение народа», «патриотизм», «национальная война» и т. п. — безусловно окрашивала собой весь ход событий.

<...> В самом конце пермского письма Сперанский называет еще одну возможную причину своей опалы, причем говорит о ней вскользь, явно испытывая неловкость за то, что вынужден касаться наветов, столь заведомо вздорных, в том числе и для его адресата: «Нужно ли, всемилостивейший государь, чтоб я оправдывал себя и против тех обвинений, которые рассеваемы были моими врагами о нравственных моих правилах и связях моих с мартинистами, иллюминатами<sup>6</sup> и проч.? Бумаги мои ясно доказывают, что никогда и никаких связей я не имел; вообще о всех вещах я старался иметь собственные мои мнения и никогда не верил слепо чужим». Сперанский давно знал о разговорах подобного рода, но никогда не относился к ним всерьез и, видимо, не верил, что хорошо осведомленный о его занятиях император может иметь к нему какие-либо претензии по этой части.

Пятью годами позднее в письме своему другу А. А. Столыпину<sup>7</sup> Сперанский, ставший к тому времени пензенским губернатором, дал подобного рода толкам, касавшимся на этот раз совсем других людей, совершенно недвусмысленную характеристику: «Как мало еще просвещения в Петербурге! Из письма вашего я вижу, что там еще верят бытию мартинистов и иллюминатов. Старые бабьи сказки, которыми можно только пугать детей». Однако презрительный тон этих отзывов едва ли соответствовал положению вещей. В действительности речь шла о разработанном комплексе культурно-исторических стереотипов, сыгравших огромную роль не только в личной судьбе государственного секретаря, но и в судьбах России и Европы. Представления, по которым двигателем исторических событий является тайный заговор могущественных сил, уходят корнями в толщу человеческой истории. В XVIII столетии эти объяснительные практики приобрели широкую популярность. Философы-просветители видели причину торжества невежества и предрассудков в многовековом заговоре церковников и власть имущих. Мыслители консервативного толка, напротив того, усматривали такой заговор в деятельности самих просветителей. Материализованным проявлением закулисных интриг сил зла служили для них масонские ложи, получившие уже в первой половине XVIII в. широчайшее распространение сначала в Британии, а потом и по всей Европе. Масонство с его постоянно афишируемым культом тайны, конечно, было идеальным объектом для мифологии всеобщего заговора. Причем, если в сравнительно свободной и веротерпимой Англии

масонские ложи, скорее, напоминали закрытые клубы, ставящие своей программной задачей моральное самосовершенствование и филантропическую деятельность, то в континентальной Европе они все чаще выглядели как тайные политические сообщества или религиозные секты. Французское и немецкое масонство надстроило над тремя принятыми в английских ложах степенями сложнейшие системы градусов, резко усложнило ритуал посвящения, дополнило официальную масонскую генеалогию связями со средневековым орденом тамплиеров и с древними эзотерическими культами. Сильнейшее воздействие на облик европейского масонства оказали и движения оккультного и мистического характера: прежде всего розенкрейцерство, сосредоточенное на алхимических и парамедицинских исследованиях, и мартинизм, философское учение о «регенерации» — воссоединении души посвященного с миром духов, которому она прежде принадлежала.

С другой стороны, свою роль в развитии лож сыграла деятельность ордена иллюминатов, тайного общества, основанного в 1776 г. в Баварии профессором Ингольштадтского университета Адамом Вейсгауптом<sup>8</sup>. Иллюминаты ставили своей задачей пропаганду радикальных политических реформ отчасти уравнилельно-социалистического толка. На первых порах орден не был связан с масонством, но в начале 1780-х гг. его лидеры начали вступать в масонские ложи, стремясь использовать их возможности и популярность для распространения своих идей. Запрещение иллюминатов баварскими властями в 1785 г. и публикация секретных документов ордена, попавших в руки полиции, вызвали настоящую панику как среди самих масонов, внешне узнавших, что их пытались сделать орудиями в опасной игре, так и среди их традиционных противников. Вейсгаупт и иллюминаты начинают служить в европейском общественном мнении эмблематическим обозначением всемирного заговора. «Тень разогнанного ордена стала призраком, приобретшим для слабых умов ужасающую реальность», — писал историк ордена Р. де Форестье. Многообразное, внутренне конфликтное, исполненное непримиримых противоречий явление, которым было масонство в конце XVIII в. <...> превратилось для многих сторонних наблюдателей в зловещий монолит, в котором политический радикализм и оккультные увлечения оказались частью единого плана, а эгалитаризм и иерархичность дополнили друг друга в представлениях о глубоко законспирированном штабе, действующем через многочисленных и часто непосвященных адептов.

С началом Французской революции все эти мифологемы обрели универсальное признание. Молниеносное крушение тысячелетней монархии и стремительное распространение революционной лавины за пределы Франции, казалось, подтверждали гипотезы о деятельности

могущественных конспираторов. Уже в начале 1790-х гг. появляется ряд трактатов и памфлетов, доказывающих, что все происходящее — дело рук мирового масонства. К концу века в свет выходят труды, в которых эти представления получили полное и систематическое изложение: «Памятные записки к истории якобинства» аббата О. Баррюэля<sup>9</sup> на французском языке, «Доказательства заговора против всех религий и правительств Европы» Дж. Робайсона на английском и «Торжество философии в XVIII веке» И. А. Штарка на немецком. Несмотря на более позднее время выхода книги Штарка, она в основном писалась в то же время, что и две других, и значительная ее часть была ранее опубликована в журнале «Эвдемония», выходившем в разных немецких городах в 1795–1798 гг. При всем сходстве целей и посылок авторов, работавших отчасти в сотрудничестве между собой, они во многом стояли на разных позициях. Робайсон и Штарк сами были активными масонами и стремились разоблачить опасные и зловещие тенденции одних объединений, чтобы вывести из-под удара другие — благонамеренные и безопасные для общества. В то же время ревностный иезуит Баррюэль был решительным противником масонства как такового. Он готов был допустить, что многие масоны не преследуют никаких опасных целей, но связывал это с тем, что они могут быть не осведомлены о преступных замыслах главарей других, потайных лож. «Я еще раз прошу честных масонов не считать, что их обвиняют в том, что они хотели произвести подобную революцию, — писал Баррюэль. — Когда я буду касаться этой статьи их законов, я расскажу, как столько благородных и добродетельных душ не подозревали о подлинной цели масонства, они видели в нем только благотворительное общество и такое братство, которое все чувствительные души хотели бы сделать всеобщим».

По мнению Баррюэля, Французская революция стала результатом тройного заговора, «софистов безбожия», «софистов возмущения» и «софистов безначалия». Первые стремились к ниспровержению Церкви, вторые — монархии, третьи мечтали разрушить все общественные институты. «Якобинский заговор, — писал Баррюэль, — был ни чем иным, как объединением, коалицией тройственной секты, тройной конспирацией, где задолго до революции созревала и до сих пор зреет гибель алтаря, трона и всего общества». Заговор «софистов безбожия» изначально восходил к союзу трех — Вольтера, д'Аламбера и Фридриха Великого; заговор «софистов возмущения» оформился в ложах франк-масонов, и, наконец, средоточием «софистов безначалия» стал орден иллюминатов во главе с Адамом Вейсгауптом, облик которого под пером Баррюэля приобрел характерные черты заместника дьявола на земле.

Три заговора, охарактеризованные Баррюэлем, можно соотнести с составляющими формулы «свобода — равенство — братство».

Человек, просвещенный философским учением энциклопедистов, оказывается свободен от религиозных догматов, которыми его ограничивало церковное учение; затем приверженцы новой философии объединяются в союзы, ставящие своей задачей свержение монархий и всеобщее уравнивание прав, а итогом этого разрушения основ всякой государственности становится упразднение государства как такового в утопии всемирного братства людей. Баррюэль полагал, что «весь секрет масонства состоит в сих словах: равенство и свобода, все люди равны и свободны; все люди братья». Категорию братства Баррюэль определенно связывал, с одной стороны, с закрытым ритуалом масонских лож, а с другой — с космополитизмом иллюминатов, не признающих национальных границ.

В ту минуту, когда люди составили народы [nations], — воспроизводит Баррюэль логику иллюминатов, — они перестали узнавать друг в друге людей. Национализм или любовь народная заступила место любви общей. <...> Итак, стало добродетелью распространять свои пределы за счет тех, кто не находится под властью нашей империи. Стало позволено презирать иностранных, обманывать и обижать их. Эта добродетель называется патриотизмом. <...> Умалите, искорените сию любовь к отечеству, и люди снова научатся познавать себя и любить друг друга как людей.

Разоблачавший масонов Баррюэль активно подхватил масонские и розенкрейцерские спекуляции о древности происхождения их ритуалов. По его мнению, «посвященные знатоки в самом масонстве отнюдь не заблуждались, называя тамплиеров среди своих предшественников». Он усматривал корни масонской символики и организации и у тамплиеров, и у средневековых еретических сект катаров и альбигойцев и в конечном счете возводил учение вольных каменщиков к основателю манихейства<sup>10</sup> Мани. Перед глазами читателя возникала единая картина чудовищной деятельности антихристианской, антигосударственной и антиобщественной секты, с доисторических времен объединявшей всех врагов порядка от адептов оккультных наук до просветителей XVIII в. Французская революция оказывалась в этой системе взглядов кульминацией разрушительного процесса и ступенью на пути заговорщиков к мировому господству.

«Памятные записки...» приобрели всеевропейское признание и были немедленно переведены на английский и немецкий, а впоследствии и на большинство других европейских языков. Именно Баррюэль предложил, с одной стороны, наиболее целостный, подробный и разветвленный, а с другой — самый упрощенный и внутренне непротиворечивый вариант теории всеобщей конспирации. По словам французского историка Д. Морне, «вся антимасонская полити-

ка XIX в. имеет своим источником книгу Баррюэля». Читателю начала XXI в. картина всемирного заговора, нарисованная Баррюэлем, несомненно покажется знакомой. Для полной узнаваемости, однако, в ней недостает еще одной важной фигуры — еврея. И это дополнение было сделано практически сразу же. В 1806 г. Баррюэль получил письмо из Флоренции от некоего капитана Симонини, личность которого ни самому аббату, ни историкам так и не удалось установить. Выразив свое восхищение «Памятными записками...», Симонини посетовал, что Баррюэль не отразил решающей роли евреев во всем описанном им заговоре от Мани до Французской революции. Письмо это было впервые напечатано только в 1878 г., но его содержание тем не менее стало быстро известно широкой публике прежде всего от самого Баррюэля, который поверил Симонини тем легче, что уже высказывался в том же роде в одном из примечаний к немецкому переводу своей книги. Первоначально он даже планировал издать по этому поводу новый труд, но потом отказался от этого намерения, по некоторым данным опасаясь спровоцировать массовое истребление евреев, и ограничился рассылкой соответствующих предупреждений многим своим корреспондентам, в особенности сотрудникам полицейского и церковного аппарата. Как указывает немецкий историк Й. Р. Биберштейн, через Жозефа де Местра эта информация дошла до Александра I, который отнесся к ней с доверием. Действительно, в 1821 г. Александр называл неаполитанских карбонариев «одной из синагог Сатаны». В архиве Н. К. Шильдера, имевшего доступ к бумагам императора, находится сделанная, скорее всего, самим историком копия письма Симонини Баррюэлю <...>. Заговор такой силы и опасности требовал адекватных средств борьбы. Напрашивающимся решением, казалось, была бы немедленная и полная ликвидация всех тайных обществ, чье существование не только таило в себе угрозу для традиционных абсолютистских режимов, но и противоречило основам начинавшего складываться в ту эпоху национального сознания. Формирующееся национальное тело должно было представлять собой единый организм, не допускающий возникновения независимых образований, закрытых от общего взгляда. Руссо в «Общественном договоре» подчеркивал, что в условиях народного суверенитета частные ассоциации недопустимы, так как противоречат «общей воле». Однако такой путь часто выглядел недостаточно надежным, поскольку, с одной стороны, не гарантировал от возникновения заговоров, а с другой — лишал защитников существующих порядков мощного и эффективного оружия, которым могли пользоваться заговорщики.

По мнению Баррюэля, сами иллюминаты «восхищались законами и порядками иезуитов, которые умели под единым руководством по-

будить действовать во имя единой цели столько людей, рассеянных по всей вселенной, и стремились подражать их средствам, развивая диаметрально противоположные взгляды». И сам Баррюэль, и поддерживавший его в этом вопросе Жозеф де Местр были убеждены, что изгнание иезуитского ордена из многих европейских стран инспирировалось масонами, у которых тем самым оказались развязаны руки. «Один знаменитый французский революционер сказал, что революция была бы невозможна, если бы этот орден существовал, и действительно, ничего не может быть более справедливым», — писал в 1811 г. Жозеф де Местр королю Виктору Эммануэлю<sup>11</sup>. Поэтому в среде, вырабатывавшей и поддерживавшей мифологию всемирной дьявольской конспирации, постоянно возникает идея противопоставить ей тайное объединение сил добра.

Если для одних примером такой «праведной конспирации» могли служить иезуиты, то для других им должно было стать «братство [conjurati] философов», вооружившихся «во имя истины» и противостоящих «антихристианскому братству», — как писал Баррюэлю Штарк. В самой масонской и розенкрейцерской среде иллюминатской угрозе стремились противопоставить объединение настоящих христиан, одушевленных стремлением к подлинному небесному просвещению. Здесь опасные явления в масонстве нередко связывали именно с иезуитским проникновением в ложи и ордена.

Такое перенимание приемов врага было, конечно, явлением обоюдоострым. В политической борьбе XIX столетия книга Баррюэля стала не только предупреждением об опасности конспиративных обществ, но и учебником конспирации. Колоссальная разрушительная сила, которую приписал иллюминатам Баррюэль, была необычайно привлекательна для многих революционных организаций новой эпохи и, в частности, способствовала притягательности в их глазах масонской символики и атрибутики. Мифология всемирного заговора, окончательно оформившаяся к концу XVIII в., существенным образом стимулировала возникновение множества локальных заговоров, которым было отмечено начало XIX в. Послереволюционная Европа стремительно вступала в эпоху политических тайных обществ.

<...> История складывания образа масона в России, как показал американский историк Д. Смит, во многом соответствовала европейской модели. Однако в российской интерпретации антимасонская мифология почти сразу же сливается с традиционными представлениями о тайном заговоре против России, который плетут за ее пределами. Почти с началом возникновения русских лож появляется значительное число текстов, в которых масон представлен, с одной стороны, слугой сатаны, занимающимся черной магией, а с другой — неисправимым

галломаном, следующим предписаниям, поступающим из враждебной Франции. Одно из стихотворений, в которых отразились подобные представления, — анонимная «Псалма на обличение франк-масонов» — вошло даже в «Письмовник...» Н. Г. Курганова<sup>12</sup>, что косвенно свидетельствовало о популярности этого текста и обеспечивало ему широкую известность в будущем.

В 80-х гг. XVIII в. самым значительным явлением антимасонской полемики были комедии и публицистические выступления Екатерины II, изображавшие масонов шарлатанами и обманщиками, запутывающими в свои сети простодушных обывателей. Однако иронически-презрительный тон печатных отзывов императрицы о тайных обществах призван был замаскировать ее глубокий испуг перед ними. По рассказам митрополита Платона, записанным Ф. П. Лубяновским, в 1787 г., по возвращении из Крыма в Москву, Екатерина была склонна усматривать «предзнаменование» своих похорон «по наущению мартинистов» в песке, которым были посыпаны улицы, темно-серой краске фонарных столбов и даже в телосложении некоторых московских духовных лиц. «Меня здесь погребают, — говорила она Платону, — проповедник ваш должен быть темный мартинист: посмотрите на него, кожа да кости, весь высох». В тот момент Екатерину особенно беспокоили связи московских масонов с враждебной Пруссией и их попытки вступить в контакт с наследником престола Павлом Петровичем. Масоны, которых императрица не отличала от ненавистных ей мартинистов, снова оказались одновременно колдунами, предающимися черной магии, и агентами иностранных держав.

В эти годы Екатерина и переходит в своей политике по отношению к масонам от полемики и полицейских ограничений к прямым репрессиям. Примерно тогда же в русском обществе широко распространяются слухи о намерении якобинцев и масонов отравить императрицу. Много позднее в «Записке о мартинистах» Ф. В. Ростопчин писал, что мартинисты «бросали жребий, кому зарезать императрицу Екатерину и что жребий пал на Лопухина». Со своей стороны, масоны вовсе не ставили под сомнение реальность подобного заговора, но стремились подчеркнуть собственную невинность, указывая в качестве заговорщиков на неведомых иллюминатов. Возрождение русского масонства в первые годы царствования Александра с неизбежностью вызвало и возрождение традиционных фобий. Характерным образом испуг по поводу масонской угрозы особенно обостряется в 1806–1807 гг., в период конфликта с Францией. Именно в это время появляются русские версии двух самых знаменитых книг, посвященных всемирному масонскому заговору: сразу два издания Баррюэля и пересказ Робайсона. Тогда же была закрыта популярная ложа «Народ Божий», или «Новый Израиль»,

а ее основатель, Тадеуш Грабянка, польский граф и последователь радикальной авиньонской системы «масонства в католическом духе», был арестован и заключен в крепость. Пострадали и некоторые члены этой ложи: журнал А. Ф. Лабзина<sup>13</sup> «Сионский вестник» был запрещен, Ф. П. Лубяновский едва не был сослан в Якутск за перевод мистической книги Г. Юнга-Штиллинга<sup>14</sup> «Тоска по отчизне».

Сам Штилинг, состоявший в эти годы в переписке с русскими масонами, тоже предостерегал их от «великого общества» «врага Господа нашего и царства его, <...> в котором Вольтер был первым членом». Главную роль в этом обществе играли Вейсгаупт и иллюминаты, ставившие своей целью «всемирную республику, истребление всех владык земных, или порабощение их иллюминатам, и совершенное уничтожение христианской веры» (письмо И. В. Лопухину от 16/27 сентября 1804 г.). Конечно, в отличие от Баррюэля, протестант Штилинг видел главную опору в борьбе с сатанинским злоумышлением не в иезуитах, а в деятельности секты гернгутеров<sup>15</sup>. Он полагал, что в апокалиптические времена гернгутерам суждено обрести свою землю обетованную в «азиатской Солиме», расположенной в «Крыму, волжских степях и Астрахани», под сенью крыл «Орла», то есть императора Александра I. «Купно все помолимся,— писал Штилинг,— да сохранит Господь сего сильного и благого Государя и окружающих его от Иллюминатизма, наипаче ныне опасного».

В преддверии надвигавшейся войны 13 января 1807 г. был создан Комитет охранения общей безопасности. В первом пункте секретного «Положения о Комитете...» содержалось совершенно отчетливое указание на источник главной угрозы для империи: «Коварное правительство Франции, достигая всеми средствами пагубной цели своей, повсеместных разрушений и дезорганизации, между прочим, как известно, покровительствует рассеянным во всех землях остаткам тайных обществ под названием Иллюминатов, Мартинистов и других тому подобных, и чрез то имеет во всех европейских государствах, исключая тех зловредных людей, которые прямо на сей конец им посылаются и содержатся, и таких еще тайных сообщников, которые, так сказать, побочным образом содействуют Французскому правительству, и посредством коих преуспевает оно в своих злонамерениях».

Автором «Положения...» и, вероятно, инициатором создания комитета был один из «молодых друзей» императора Н. Н. Новосильцев. 5 марта того же 1807 г. он писал императору: «Наши канцелярии полны “мартинистов”, “израелитов” (намек на «Новый Израиль» Грабянки.— А.З.), “иллюминатов” и негодяев всех оттенков, а дома кишат французами и якобинцами всех наций». Однако на этот раз наступление на масонство оказалось неглубоким. Подверглись преследованиям только те, кто был



так или иначе связан с ложей Грабянки. Непродолжительным было и антифранцузское направление русской внешней политики. В июне 1807 г. был подписан Тильзитский мир, а осенью 1808-го последовала Эрфуртская встреча Александра и Наполеона, окончательно положившая франко-русский союз в основу нового политического устройства Европы. После возвращения из Эрфурта Сперанский и становится доверенным лицом императора и его правой рукой.

<...> Обстоятельства возвышения Сперанского превратили его в своего рода символ непопулярного профранцузского курса. Слухи о невиданных похвалах, которыми удостоил нового фаворита Наполеон во время эрфуртской встречи, равно как и его постоянные контакты с французским послом А. де Коленкурром, также не могли успокоить общественное мнение. Когда же стало ясно, что именно Сперанскому назначено быть душой и двигателем глубоких и не вполне понятных большинству преобразований, образ его приобрел в глазах современников отчетливые и знакомые очертания. В декабре 1809 г. Жозеф де Местр, ссылаясь на «хорошо осведомленных людей», докладывал своему королю, что Сперанский «в кабинете императора исполняет <...> веления той обширной секты, которая стремится погубить монархии [expédier les Souverainetés]». Руководителей этой «великой секты» де Местр не назвал, да в этом и не было нужды. При всех дворах Европы хорошо понимали, о ком идет речь. В 1812 г. подчиненный Сперанского по Комиссии составления законов барон Г. А. Розенкампф<sup>16</sup> обвинял Сперанского в «измене государству и иллюминатизме». Тогда же в направленном Александру доносе, подписанном «граф Ростопчин и москвичи», но, возможно, принадлежавшем старому вольнодумцу Федору Каржавину<sup>17</sup>, говорилось, что Сперанский «под видом патриотизма хотел действовать против особы» императора, «все сословия озлобить и побудить народ произнести великое и страшное требование», а также что автору письма известно «место, где хранится переписка Наполеона с обнаженными участниками заговора».

Приписывая собственные фантазии Ростопчину, чьи воззрения были хорошо известны публике, автор доноса лишь отчасти грешил против истины. К тому времени Ростопчин уже направил Александру через великую княгиню Екатерину Павловну свою «Записку о мартинистах», где перечислил основных, по его мнению, деятелей российских тайных обществ и написал, что «они все более или менее преданы Сперанскому, который, не придерживаясь в душе никакой секты, а может быть, и никакой религии, пользуется их услугами для направления дел и держит их в зависимости от себя». За спиной манипулирующего мартинистами Сперанского проглядывала еще более зловещая фигура. «Я уверен, что Наполеон, который все направляет

к достижению своих целей, покровительствует им, — писал Ростопчин в конце записки, — и когда-нибудь найдет сильную опору в этом обществе, столь же достойном презрения, сколь и опасном. Тогда увидят, но слишком поздно, что замыслы их не химера, а действительность; что они намерены быть не посмешищем дня, но памятными в Истории, и что эта секта не что иное, как потаенный враг правительств и государей». Существование связи между нынешними мартинистами и Наполеоном Ростопчин подкреплял тем, что мартинисты екатерининской эпохи действовали «по указке баварских иллюминатов, чье письмо к Новикову было перехвачено на почте». Это перехваченное письмо иллюминатов к Новикову, кажется, отозвалось в словах Александра, записанных де Сангленом: «Я думаю, нетрудно будет на почте перехватить переписку иллюминатов с главой их Вейсгауптом, Балашов говорит, что Сперанский регентом у иллюминатов». По свидетельству де Санглена, произнося эту тираду, «государь засмеялся». Тогда же император сообщил мемуаристу, что у Сперанского есть собственная ложа и, по «мнению Армфельдта, это ложа иллюминатов».

Интересно, какое именно место в иллюминатском ордене отведи Сперанскому министр полиции Балашов и император. Регент, по Баррюэлю, это высшая, восьмая, ступень для иллюмината, еще не посвященного в великие таинства. Над регентами находятся Маги, или Люди-короли, а над ними уже Ареопагиты — верховный совет ордена во главе с Вейсгауптом, который после разгрома ордена безвыездно жил в городе Гота на скромную пенсию от местного курфюрста и занимался сочинением многословных трактатов с оправданием своей предшествующей деятельности. Не была забыта и традиционная польская составляющая. После Тильзита А. Чарторижский, главный агент польского влияния при дворе Александра, уже не играл существенной роли в русской политике, однако его мифологическая функция была передана Сперанскому. В упомянутом доносе 1812 г., приписанном Каржавину, говорилось, что Сперанский добивается у императора введения налогов на содержание польской армии.

Даже в ближайшем к действующим лицам этой исторической драмы кругу ходили те же слухи. По рассказу А. А. Логинова, «в дом к графу Павлу Александровичу Строгонову весть о случившемся принес А. С. Шишков в присутствии подчиненных Сперанского А. Н. Оленина<sup>18</sup> и А. И. Тургенева. “Польстился же на безделицу”, — сказал Шишков, выдавая за достоверную истину, что Сперанский был подкуплен Наполеоном предать ему Россию под обещанием учредить ему корону польскую».

<...> Шишков был заметной фигурой в борьбе против Чарторижского, который, принадлежа к одной из самых родовитых польских

семей, мог бы рассчитывать на корону в восстановленной Польше. Сын провинциального православного священника Сперанский никак не мог рассматриваться в качестве кандидатуры на польский трон, но это обстоятельство нисколько не смущало ни самого Шишкова, всецело захваченного логикой мифа, ни, вероятно, его собеседников. Причем по своим человеческим свойствам Шишков менее всего был склонен к циничной клевете. Безусловно, он всерьез верил в эти обвинения. По свидетельству одного из современников, слухам этим было суждено дойти и до самого Сперанского. «В Перми как-то заговорили, что он предал отечество не за деньги, а за польскую корону. — Слава Богу! — сказал он, перекрестясь, начинают лучше обо мне думать; за корону все-таки извинительней соблазниться».

Через восемьдесят лет после описываемых событий П. И. Бартенов опубликовал слышанный им от графа Строгонова рассказ польского маршала (уездного предводителя дворянства) Любецкого о том, что Балашов требовал от него записки о состоянии умов в польских губерниях. Тот подал записку, уже подготовленную для Наполеона, «под которой якобы значилось преданный вам Сперанский». «Увидав подпись эту, Балашов не скрыл своего удовольствия», и через несколько дней последовала ссылка Сперанского в Нижний Новгород. «Конечно, записка, доставленная Любецким, была подложная», — добавлял Бартенов. Разумеется, вся эта история настолько абсурдна, что даже подложной записки подобного содержания не могло существовать. Однако в ней слышен живой отголосок слухов, ходивших вокруг опалы Сперанского. Деньги, впрочем, также фигурировали. В доносе, приписывавшемся Каржавину, говорилось, что Сперанского «удалили от верности к отечеству» «злато и бриллианты, доставленные ему через французского посла». В первые недели ссылки, когда Сперанский особенно остро страдал от безденежья, тщетно ожидая выплаты причитавшегося ему жалованья, его близкий друг и доверенное лицо П. Г. Масальский с досадой писал ему о фантастических слухах о его невиданных богатствах: «нескольких миллионах, хранящихся в английском банке», «700 тысячах серебром, отправленных в Киев на контракты», десятках домов и т. п. Сюжет о киевских контрактах, видимо, восходил к Балашову, о чем император говорил де Санглену. Впрочем, там фигурировала сумма в 80 тысяч. Особенно расстраивало Масальского участие в этих разговорах людей, считавшихся доброжелателями Сперанского, в частности графа Кочубея, который близко знал опального фаворита и во многом способствовал его карьере.

В «Записках...» Г. Р. Державина есть эпизод, относящийся к более раннему времени, но описанный уже в годы войны. Поэт вспоминал свою борьбу в начале царствования Александра за интересы России

с польским и еврейским влиянием при дворе. Проводником первого выступал Чарторижский, второго — Сперанский, «который совсем был предан жидам через известного откупщика Переца» и которого «гласно подозревали в корыстолюбии <...> по связи его с Перцем». Чарторижский и Сперанский оказывались параллельными и соответственно взаимозаменяемыми представителями двух враждебных России и опасных наций. Даже такой, казалось бы, совсем не идущий к делу элемент мифа, как магия и чернокнижие, оказался задействован. Балашов рассказал де Санглену, что, «приехав накануне вечером в семь часов вечера к Сперанскому, был он объят ужасом. В передней тускло горела сальная свеча, во второй большой комнате тоже, отсюда ввели его в кабинет, где догорали два восковые огарка, огонь в камине погасал. При входе в кабинет почувствовал он, что пол под ногами его трясся, как будто на пружинах, а в шкафах вместо книг стояли склянки». Увидя Балашова, Сперанский «немедленно закрыл» старинную книгу, которую он читал. Образ изменника у подножия престола, готовящего своему отечеству неслыханные бедствия, посланника темных сил, чародея, французского шпиона, подкупленного евреями и рассчитывающего на польскую корону, обретал завершенность. «Близ него мне все казалось, что я слышу серный запах и в голубых очах его вижу синеватое пламя подземного мира», — писал Ф. Ф. Вигель. Из всех традиционных составляющих образа масона и иллюмината государственному секретарю не инкриминировалась, кажется, только сексуальная и алкогольная распушенность. В «Записке о мартинистах» Ростопчина «пьяницей, преданным разврату и противоестественным порокам» назван И. В. Лопухин, но Сперанского такого рода обвинения обходили стороной. Ненавидевший Сперанского Вигель писал о «безнравственности его правил (хотя и не поведения)». Едва ли это связано с вполне аскетическим образом жизни государственного секретаря. Скорее, русское общество начала XIX в. было недостаточно пуританским, чтобы воспринимать подобные прегрешения как существенные атрибуты столь зловещего персонажа.

<...> Набор идеологом, сложившихся вокруг Сперанского, сформировался до его возвышения. Новый фаворит лишь заполнил функциональную нишу, возникшую с уходом с государственной арены членов Негласного комитета, и прежде всего Чарторижского. Однако Сперанскому довелось сыграть отведенную ему роль куда сильнее и достовернее, чем кому-либо из его предшественников. Существенным для кристаллизации этих представлений было то, что и государь, вознесший безвестного поповича к вершинам власти, и сам Сперанский во многом находились во власти той же мифологии. Разительное несоответствие власти и влияния, которыми обладал Сперанский в эти

годы, его официальным должностям не представляло собой ничего нового. Любой фаворит всегда, с одной стороны, находится в центре общественного внимания, а с другой — действует как бы из-за кулис. Однако в александровскую эпоху это вполне традиционное для русской политической культуры явление приобретает достаточно своеобразные формы.

Уже «молодые друзья» Александра образовали нечто вроде замкнутого кружка, который был призван стать своего рода теневым кабинетом и решать основные вопросы за спиной официальных сановников. Недаром члены этого Негласного комитета в шутку называли его Комитетом общественного спасения, уподобляя тем самым якобинскому клубу. В 1808–1811 гг. Сперанский единолично выполнял функции всего Негласного комитета в области внутренней политики, а в сфере международных отношений он стал одним из ведущих участников аналогичной неформальной котерии, подменяющей государственные институты.

Советник русского посольства в Париже Нессельроде пишет, помимо князя Куракина (т. е. минуя посла во Франции. — А.З.), государственному секретарю Сперанскому. Р. А. Кошелев находится в непосредственной переписке с русским посланником в Вене графом Штакельбергом и австрийским поверенным в делах Сен-Жюльеном, опять-таки помимо канцлера [Н. П. Румянцева], и все докладывается Кошелевым непосредственно императору. Способ особый, но он присущ императору Александру, — писал публикатор многих русских дипломатических документов великий князь Николай Михайлович. Из пермского письма Сперанского мы знаем, что именно он был инициатором начала этой переписки, которая в деталях, вплоть до упоминания государственных деятелей под вымышленными именами, напоминала Королевский секрет Людовика XV, имевший в России, как уже говорилось, репутацию центра антироссийского масонского заговора.

Неясно, в какой мере Сперанский и Александр сознательно ориентировались на этот хорошо известный им образец. Исключить случайное совпадение, конечно, невозможно, но вполне вероятно, что они выстраивали свой антифранцузский заговор по технологиям, опробованным в Париже. Стоит отметить, что помимо Сперанского душой «Императорского секрета» Александра I был известный масон Р. А. Кошелев. Вопреки утверждениям Ростопчина и Вигеля об атеизме Сперанского, он на протяжении всей своей жизни оставался глубоко религиозным человеком и мыслителем ярко выраженного мистического склада. Еще в 1804 г. он пользовался наставлениями такого опытного мистика, как И. В. Лопухин, и, в свою очередь, при-

учал своего друга архиепископа Феофилакта (Русанова) к чтению мистических сочинений Эккартсгаузена, Фенелона и мадам Гюйон.

Позднее Сперанский охотно делился своими исключительными познаниями в этой области с императором. «Когда ваше величество пожелали о предметах сего рода, и в особенности о мистической их части, иметь сведения, я с удовольствием готов был посвятить вам все плоды моих собственных изысканий и размышлений. Беседы сии мне тем более были приятнее, чем более я видел, что предмет их сообразен с вашими чувствами», — писал он в пермском письме. Однако самый пристальный интерес к мистицизму вовсе не означал непременною участия в работе масонских обществ. В нашем распоряжении нет сведений о принадлежности Сперанского к каким-либо ложам вплоть до 1810 г. <...>. В 1822 г. после закрытия в России всех масонских лож Сперанский писал в подписке о неучастии в тайных обществах, что в 1810 г., состоя в правительственном комитете по рассмотрению масонских дел, он был «с ведома правительства принят в ложу Фесслера<sup>19</sup> и посетил ее два раза». Ко времени дачи этих показаний Сперанский лишь полтора года как вернулся в Петербург после ссылки и длительной службы в провинции. Положение его было еще очень непрочным, и он понимал, что каждое его слово, тем более по такому щекотливому вопросу, может вызвать самое пристальное внимание. Все обстоятельства его биографии были хорошо известны императору и легко могли быть проверены. Трудно представить, чтобы в этой ситуации он мог сообщать какие-то ложные сведения. Другое дело, что расставленные им смысловые акценты оказались во многих отношениях смещены. В воспоминаниях близкого сотрудника Сперанского тех лет барона Ф. Гауеншильда рассказано о «планах преобразования русского духовенства», которыми был в то время одушевлен государственный секретарь и для осуществления которых, по словам мемуариста, им были избраны «весьма странные» средства. «Предполагалось основать масонскую ложу с филиальными ложами во всей Российской империи, в которую были бы обязаны поступать наиболее способные из духовных лиц всех сословий. Духовные братья были бы обязаны писать статьи по известным гуманитарным вопросам, говорить проповеди и т. д., каковые бумаги должны были затем препровождаться в главную ложу на рассмотрение первого мастера великой ложи (эта честь была предложена мне), по предложению которого достойнейшие должны были получать повышения в союзе масонских лож и в государстве. Но так как существовавшие уже многочисленные ложи отнюдь не могли согласоваться с этим проектом и преследовали совершенно иные цели (в сущности у них не было никаких целей), то Сперанский представил к подписи императора два указа. Одним

из них император повелевал министру народного просвещения графу Алексею Разумовскому закрыть временно при помощи директора полиции все существовавшие в империи ложи и истребовать у мастеров стула различные их ритуалы. Этот указ был подписан императором и был немедленно приведен в исполнение; вторым указом повелевалось начальникам лож либо принять составленный Сперанским (в то время еще не вполне выработанный) новый ритуал масонских лож, либо закрыть их. Император обещал подписать и этот указ, но это не было исполнено. Хотя мне было в то время всего двадцать пять лет от роду, но я чувствовал, что этот проект был совершенно неудобоисполним и что он должен был произвести тем более неприятное впечатление, что слишком напоминал Вейсгаупта» <...>.

В этих написанных много позднее воспоминаниях есть мелкие неточности. Так, в переданном руководителям лож распоряжении министра полиции речь не шла об их временном закрытии, а только о приостановлении приема новых членов. Однако в целом Гауеншильд верно излагает ход дела. Для выработки единого ритуала был приглашен известный реформатор масонства И. Фесслер, которому Сперанский, вероятно в связи с ориентацией будущей ложи на духовных лиц, выхлопотал место профессора еврейского языка и философии в Александро-Невской академии.

По свидетельству масона К. П. Реннекампа<sup>20</sup>, он переводил с немецкого на французский ритуал для принятия Сперанского. Это обстоятельство, кстати, может служить косвенным подтверждением того, что до этого времени Сперанский не участвовал в работе лож. По масонским правилам однажды принятый в какую-либо ложу брат не нуждался в повторном посвящении. Как указывает А. И. Серков, «в июне 1810 года М. М. Сперанский впервые открыл заседания своей Великой ложи, а в начале сентября император повелел собрать для изучения акты всех масонских систем и составить комитет для рассмотрения плана М. М. Сперанского — И. А. Фесслера». Дальше, однако, дело застопорилось. Придать ложе официальный статус Александр отказался, а потом и вовсе закрыл ее. Фесслер был вынужден выйти в отставку и уехать из Петербурга. Пытаясь реформировать масонство, Фесслер «требовал от братьев принять древнюю английскую систему с некоторыми переменами». Он предлагал упростить ритуал и отказаться от оккультных исследований и высших степеней, которые из практических градусов лож должны были стать предметом исторического изучения. По словам Г. Флоровского, «задачу истинного масона он полагал в создании новой гражданственности, в перевоспитании граждан для наступающего века Астреи». Несомненно, что именно эти идеи и привлекли Сперанского.

Стратегические цели, которые преследовал Сперанский, планируя такую одновременно тайную и официальную ложу, и связь этих планов с попытками «преобразовать духовенство» станут понятны, если поставить их в общий контекст его реформаторской деятельности. Именно в это время Сперанский приступал к колоссальной по своим масштабам реформе государственного управления. Естественно, он не мог не думать о людях, которым будет суждено занять места в преобразуемых им учреждениях. Стремление сформировать слой образованных государственных чиновников всех рангов продиктовало и указ об экзаменах при производстве в первый дворянский чин, и работу по созданию Царскосельского лицея — элитного учебного заведения, где дети высшей знати должны были подготавливаться к гражданской службе. Но главный резерв для пополнения бюрократии Сперанский, естественно, должен был видеть в сословии, откуда вышел сам <...>.

Речь шла о последовательной системе отбора самых талантливых представителей духовенства, прежде всего студентов духовных учебных заведений. Отобранные лица должны были быть связаны между собой особыми узами мистического братства, объединенного общим центром и подчиненного государственному надзору. По словам знаменитого немецкого государственного деятеля барона Г. Ф. Штейна, Сперанский «верил в обновление мира посредством тайных обществ». Штейн прибыл в Петербург позднее и знал обо всей этой истории из вторых рук, но его рассказ о ней в основном совпадает с тем, что известно из других источников.

Гауеншильдун проект Сперанского «слишком напоминал Вейсгаупта». Однако представление о деятельности иллюминатов и Сперанский, и сам мемуарист могли составить прежде всего по книге Баррюэля или другой литературе подобного рода. Между тем, как уже говорилось, Баррюэль утверждал, что иллюминаты «восхищались законами и порядками иезуитов <...> и стремились подражать их средствам, развивая диаметрально противоположные взгляды». Объединение, задуманное Сперанским, с его официозным характером и ориентацией на духовенство представляло собой нечто среднее между традиционной масонской ложей и иезуитским орденом. Жозеф де Местр, подозревавший Сперанского в исполнении повелений «обширной секты», писал, что тот публично «хвалил иезуитов и их систему образования». Вопреки его предположениям, Сперанский был, вероятно, совершенно искренен. Он мог высоко ценить организационную практику и педагогическую систему иезуитов и рассчитывать использовать какие-то элементы их опыта в своих целях. Аналогичным образом устройство централизованной масонской ложи в России могло бы, по его расчетам, воспрепятствовать распростране-



нию иллюминатских тенденций. Похоже, что в намерениях подобного рода Сперанский был не одинок — позднее в дневнике художника В. Л. Боровиковского<sup>21</sup> отразились ходившие в Петербурге слухи, что «князь Голицын с Филаретом хотят составить новое христианское сословие в противность масонам».

Как бы то ни было, этот проект, как и другие преобразовательные планы Сперанского, отражал позицию Александра, видевшего в деятельности масонских лож известную опасность и стремившегося то поставить их под безусловный государственный контроль, то противодействовать им с помощью других тайных обществ, реализующих его собственные установки. В 1810–1811 гг. он переписывался на эти темы с Кошелевым, переславшим ему перехваченный символ веры итальянских иллюминатов. Тогда же перепуганный государь просил свою сестру, великую княгиню Екатерину Павловну, не писать ему ничего о мартинистах обычной почтой, но посылать письма на эту тему только с фельдъегерем. Де Санглену он говорил, что необходимо, «чтобы тайных лож от правительства не было», и требовал представить все протоколы масонских собраний.

С этими же планами было связано создание в 1810 г. комитета по рассмотрению масонских бумаг, одним из членов которого был Сперанский. Кажется, А. Н. Пыпин первым обратил внимание на то, что инициатива, считавшаяся «частным делом Сперанского, Розенкампа и Фесслера, имела официальную подкладку». Он же опубликовал записку неизвестного лица к императору, в которой предлагались средства «установить масонство в его первоначальной чистоте». Полное совпадение содержащихся в этой записке предложений с тем, о чем пишет Гауеншильд, заставляет видеть здесь если не непосредственное авторство Сперанского, то по крайней мере развитие его идей: «Я счел долгом представить в. в-ву некоторые мысли относительно тех мудрых мер, которые в. в-во предполагаете употребить для устройства масонства. Они кажутся мне способными обеспечить успех ваших намерений.

1. Оно должно устранить увеличение испорченности нравов, устанавливая добрую нравственность, утвержденную на прочном основании религии.

2. Оно должно воспрепятствовать введению всякого другого общества, основанного на вредных началах, и таким образом образовать род постоянного, но незаметного надзора. <...>

Когда устройство этого ордена будет раз очищено и утверждено таким образом, было бы необходимо образовать центр соединения, к которому примыкали и где сходились бы все учреждения этого рода, какие могли бы образоваться внутри империи, в каком бы ни было

месте. <...> Всякая другая ложа в империи, не учрежденная этой ложей-матерью, не должна бы быть терпима».

Насколько бы ни соответствовали проекты Сперанского глубинным устремлениям монарха, они были обречены на провал. Гауеншильд был прав, когда назвал их «неудобоисполнимыми», а также «странными и подозрительными». Не говоря уже о том, что мистическое братство подобного рода было плодом поэтического воображения аббата Баррюэля и его единомышленников и вряд ли могло быть создано на практике, сама попытка его организации неминуемо должна была натолкнуться на сопротивление в различных и весьма влиятельных кругах. Едва ли не первым забил тревогу Жозеф де Местр. Вся реформаторская деятельность Сперанского вызывала у него глубокое неприятие. Еще в 1809 г. он ответил на слухи о конституционных проектах нового фаворита своим «Опытом о началах, порождающих политические конституции», где резко критиковал саму идею писаной конституции как основы национального законодательства. Однако именно образовательные проекты государственного секретаря наиболее глубоко затрагивали непосредственные интересы иезуитов в России, поскольку в первом десятилетии XIX в. школы для детей высшей российской аристократии находились в значительной степени в их руках. Практически вся публицистическая деятельность де Местра в 1810–1811 гг. прямо направлена против Сперанского. В июне — июле 1810 г. он пишет «Пять писем о народном образовании», обращенных к только что вступившему в должность министру народного просвещения графу А. К. Разумовскому<sup>22</sup>, в марте 1811 г. — «Наблюдения о плане занятий, предложенных для Невской семинарии профессором Фесслером», в сентябре 1811 г. — «Записку о свободе народного образования» обер-прокурору Синода и ближайшему другу Александра князю Голицыну. В декабре 1811 г. этот цикл был завершен «Четырьмя фрагментами о России», предназначенными непосредственно императору. Четвертый фрагмент, «Об иллюминизме», был посвящен различным тайным обществам и мистическим движениям и мере опасности, которую несет каждое из них.

Не менее резкой была и реакция православных иерархов, которым в качестве наставника будущих пастырей навязывали масона и расстриженного католического монаха, перешедшего в лютеранство. В конфликт со Сперанским по этому поводу вступил даже его друг архиепископ Феофилакт<sup>23</sup> (Русанов), обязанный государственному секретарю своей церковной карьерой. И в довершение всего возмутились масоны, которым предлагалось или привести работу своих лож в соответствие с преобразовательными планами Фесслера, или прекратить ее. Между тем масонами были, в частности, те государственные

сановники, которым предстояло воплощать эти планы в жизнь, — министр просвещения Разумовский и министр полиции Балашов.

Не приведя ни к каким практическим результатам, эта своеобразная инициатива не могла не вызвать соответствующих толков. В начале 1811 г., обращаясь к Александру с просьбой ограничить слишком разросшийся круг его деятельности, Сперанский перечислял слухи, ходившие о нем в обществе: «В течение одного года я попеременно был мартинистом, поборником масонства, защитником вольности, гонителем рабства и сделался, наконец, записным иллюминатом. <...> Я знаю, что большая их (обвинителей. — А.З.) часть и сами не верят сим нелепостям; но, скрывая собственные их страсти под личиной общественной пользы, они личную свою вражду стараются украсить именем вражды государственной».

В «попеременности» здесь не было особой нужды. Перечисленные Сперанским обвинения составляли единый и вполне цельный образ. Но трудно сомневаться, что неудачная инициатива по созданию централизованной масонской ложи сильно помогла представлением о «записном иллюминате» оформиться в общественном мнении. На фоне нараставшей в преддверии войны антииллюминатской истерии и общей шпиономании миф о заговорщике у трона приобретал необходимую законченность. Первое крупное поражение государственного секретаря стало прологом к его будущему крушению.

<...> Свою опалу Сперанский считал результатом интриг некоего «секретного комитета», душой которого, по его мнению, была великая княгиня Екатерина Павловна. Подобное понимание механики событий было продиктовано теми же базовыми идеологемами заговора и тайного общества, которыми руководствовались и его политические противники. В то же время великая княгиня действительно не скрывала своей неприязни к государственному секретарю. Именно она инициировала создание двух главных публицистических сочинений, направленных против Сперанского, — «Записки о мартинистах» Ростопчина и «Записки о древней и новой России» Н. М. Карамзина — и передала их Александру <...>.

Российское общество того времени могло не знать о тех или иных высказываниях великой княгини или, тем более, о документах, которые поступали к императору через ее посредство. Но, безусловно, твердая оппозиция Екатерины Павловны по отношению как к Тильзитскому курсу, так и к реформаторским планам, связанным с именем Сперанского, была достаточно широко известна и делала ее необыкновенно популярной. Иностранные дипломаты фиксировали в своих донесениях нередкие разговоры о том, что она может заменить Александра на троне. Особенный патриотический энтузиазм вы-

звало объявленное в начале 1809 г. обручение Екатерины Павловны с принцем Ольденбургским. На протяжении 1807–1808 гг. Наполеон неофициально поднимал вопрос о своем сватовстве к великой княжне. Ее быстро организованное обручение было не только выражением глубокой антипатии самой Екатерины Павловны и ее матери, вдовствующей императрицы Марии Федоровны, к непорфирородному властителю Франции, но и по существу первым вызовом новому союзнику.

Уже в конце ноября 1808 г. Ж. де Местр сообщал о грядущей свадьбе Екатерины Павловны и герцога Ольденбургского и выражал свое удовлетворение этим решением: «Этот брак, неравный в некоторых отношениях, все же мудр и достоин великой княгини, столь же мудрой, сколь и очаровательной. Прежде всего, любая принцесса в семье, пользующейся ужасной дружбой Бонапарта, должна поторопиться выйти замуж даже несколько ниже своего уровня, потому что кто знает, какие идеи могут прийти в эту редкую голову. <...> Ничто не может сравниться с добротой и изяществом госпожи великой княгини. Если бы я был художником, я бы послал вам изображение ее взгляда, и вы бы увидели, сколько добродетели и разума заключила в нее природа».

В 1807 г. Державин начал писать оставшееся незаконченным «Послание к великой княгине Екатерине Павловне о покровительстве отечественного слова» <...>. Вероятно, послание это должно было стать официальным обращением образовавшегося в тот год литературного кружка, начавшего собрания в доме поэта и потом переросшего в «Беседу любителей русского слова». Поэт назвал молодую великую княжну «народа своего искусницей языка». Эта сильно преувеличенная похвала все же отражала реальный и редкий в придворной среде интерес молодой великой княжны к родному языку, столь значимый для литераторов шишковского круга. Как показывают письма Екатерины Павловны Карамзину, она писала по-русски со значительными трудностями, но демонстрировала горячее стремление освоить эту премудрость. На правах «сотрудника» и «собеседника» великой императрицы, «соименной» адресату послания, Державин призвал Екатерину Павловну внять «гласу лир отчизны твоея» и быть «предстательницей <...> пред троном русска слова».

Как показал М. Г. Альтшуллер, сватовство Наполеона к Екатерине Павловне стало аллюзионным фоном трагедии Державина «Евпраксия», написанной в 1808–1809 гг. Трагедия эта, основанная на «Повести о разорении Батыем Рязани», рассказывает, как татарский хан потребовал к себе в стан жену рязанского князя Федора Евпраксию. Сражение, последовавшее за отказом, кончается гибелью Федора и самоубийством Евпраксии. Для поднятия патриоти-

ческих чувств зрителей Державин завершил трагедию еще одной битвой, в которой Батый оказывается побежден войском, пришедшим из Москвы. Смысл этого отступления от источника раскрывается в «Предупреждении» к трагедии: «Поелику не изменили они (предки россиян.— А.З.) ни вере, ни отечеству, то сим бедствием своим дали нам образ, достойный подражания, посея в души поздних родов своих то мужество, которым в последствии времен истреблено царство Батыево. <...> Но если б предки наши отступились от веры, охладели в любви к отечеству и верности к государям, тогда уже Россия давно не была бы Россиею. Заклучим изречением Соломона: Нет ничего нового под солнцем». Последняя фраза недвусмысленно связывает описанный поэтом исторический эпизод с современными событиями. Бракосочетание Екатерины Павловны и принца Ольденбургского вызвало у Державина взрыв ликования, и он воспел их свадьбу в экзотическом стихотворении «Геба», где, в частности, писал:

О изящна добродетель,  
О Великий образ жен.  
Кто, быть могши сам владетель,  
Но став волей унижен,  
Явил выше царской власти  
Дух отечеству служить. <...>  
Сим одним Екатерина,  
Именем своим одним  
Ты повергла исполина  
Росса ко стопам твоим.

Речь в этих нарочито туманных строках идет о возможности стать супругой самого могущественного из земных монархов, которой новобрачная, по мнению Державина, предпочла долг патриотического служения. В следующем году поэт посвятил той же чете стихотворение «Шествие по Волхову российской Амфитриты», где связывал с ней свои надежды на процветание российских муз. В упованиях на Екатерину Павловну Державин был не одинок. В общественном сознании тех лет личность великой княгини была подвергнута столь же интенсивной мифологизации, что и фигура государственного секретаря. Красивая и решительная сестра государя, символически носящая имя своей великой бабки и самоотверженно сражающаяся за интересы России, оказывалась противопоставлена опасному интригану и заговорщику, выполняющему близ трона повеления злейшего врага своей родины. Многие трагедии, написанные в 1808–1809 гг., воспроизводят одну и ту же коллизию. Государство стоит перед лицом столкновения с неизмеримо сильнейшим неприятелем, чей

надменный повелитель предлагает постыдный мир. В этой ситуации отрицательные персонажи исходя из очевидного неравенства сил, предлагают пойти на унижение, а благородные герои требуют принять бой и в конце концов, вопреки вероятности, торжествуют. Помимо уже упомянутой «Евпраксии», эту схему воспроизводят, скажем, «Михаил, князь Черниговский» С. Н. Глинки (1808), «Сульеты, или Спартанцы осьмнадцатого столетия» Л. Н. Неваховича (1809), «Дебора» А. А. Шаховского (1809) и ряд других пьес. <...>

Трагедии 1808–1809 гг. стали одной из фундаментальных манифестаций идеологии заговора, примененной к конкретным политическим обстоятельствам и государственным деятелям того времени. При этом бытовавшие в общественном сознании метафорические соотнесения не только своеобразно отражали исторические коллизии, но и предсказывали, а возможно, и формировали их. Так, образ женщины-воительницы, наследницы Екатерины Великой, скорее всего, стимулировал ту неистовую активность, которую развила великая княгиня в 1812 г. по формированию ополчения.

«Государь еще ничего не знает, но <...> мысль об образовании особых полков принадлежит графу [Ростопчину] и мне, — писала Екатерина в начале войны В. П. Оболенскому<sup>24</sup>, — а возникла она потому, что в Москве граф Ростопчин». Как показало развитие событий, Ростопчин вовсе не был столь уж безоговорочным сторонником этой идеи. «Великий проект осуществляется несмотря на сопротивление графа, — говорится в письме тому же адресату от 7 июня. — <...> Не пройдет и двух недель, как Москва докажет своему градоначальнику, что он не знает ее. Пусть все это будет между нами. Я счастлива, что доброе дело совершается, а через кого — не все ли равно».

Давление своего мифологического ампула ощущал и Сперанский. В своем оправдательном письме, говоря о непричастности к тайным ложам и зловещим замыслам, он восклицал: «Всемиловитейший Государь! В невидимом присутствии Бога Сердцевода смею здесь воспросить: так ли поступает, советует, действует и говорит мрачный честолюбец, ненавидящий своего государя и желающий привести его в ненависть». В трагедиях злодеям жанровым каноном предопределено самоубийство. «Отвсюду я внемлю проклятие народа», — восклицает Хабер и закалывается. Однако затем под ним разверзается бездна и он проваливается в ад. У Неваховича Паласка бросается вниз с обрыва. Земля не принимает предателя, и он в буквальном смысле исчезает с ее лица, прежде чем торжествующий народ может объединиться, празднуя победу. Именно в этом ключе и было воспринято большинством современников изгнание Сперанского. В эсхатологических терминах описывала произошедшее В. И. Бакунина:

«Бог ознаменовал милость свою на нас, паки к нам обратился и враги наши пали. Открыто преступление в России необычайное, измена и предательство. <...> Должно просто полагать, что Сперанский намерен был предать отечество и государя врагу нашему. Уверяют, что в то же время хотел возжечь бунт вдруг во всех пределах России и, дав вольность крестьянам, вручить им оружие на истребление дворян. Изверг, не по доблести возвышенный, хотел доверенность государя обратить ему на погибель. <...> 19-го сделалось то совершенно гласно, и принята была весть с восторгом; посещали друг друга для поздравления, воздали славу и благодарение Спасителю Господу и хвалу сыну отечества, открывшему измену, но нам неизвестному. <...> Никого, однако же, измена не удивила, давно ее угадывали из всех новых постановлений». В этом отзыве очень много показательного. И общее согласие относительно характера преступления Сперанского, хотя никакого официального объявления по этому поводу сделано не было, и убежденность в его небывалом тайном могуществе и способности «возжечь бунт вдруг во всех пределах России», и благодарственные молитвы, и ощущение невиданности на Руси подобной измены, и само слово «изверг», указывающее на отпадение от народного тела. «Извергом» назвал Сперанского и А. Я. Булгаков<sup>25</sup>, записавший в своем дневнике, «что открыт в Петербурге заговор, состоявший в том, чтоб Россию французам отдать». Как впоследствии вспоминал Вигель, опалу Сперанского «торжествовали как первую победу над французами». Расчеты инициаторов опалы полностью оправдались. Изгнание, «извержение» ненавистного государственного секретаря действительно вызвало незаурядный патриотический подъем.

<...> Жалобы Александра на то, что у него «отняли» правую руку, на «жертву», которую он должен был принести «общественному мнению», вероятно, следует понимать с максимально возможной буквальностью. Недаром историческим прототипом войны, ожидавшей Россию, должно было служить ополчение Минина и Пожарского, один из инициаторов которого призывал заложить жен и детей во имя освобождения отечества. Таким образом, ссылка Сперанского могла интерпретироваться как жертва одновременно в двух перспективах. С одной стороны, государь как первый из сынов отечества клал на его алтарь самое дорогое, что у него было, — свои преобразовательные планы, с другой — ритуал заклания изменника становился символическим залогом народного единства. Неудивительно, что в то время как самому императору жертва, им принесенная, казалась едва ли не чрезмерной, большинство его подданных сочло ее недостаточной. По воспоминаниям Вигеля, все «дивились <...> и роптали. Как можно было не казнить преступника, государственного изменника, пре-

дателя и довольствоваться удалением его от столицы и устранением от дел!». Варвара Бакунина замечала в дневнике, что «в обществе все благомыслящие люди <...> не радовались милосердию, называя оное попущением». Даже столь далекий от кровожадности человек, как Карамзин, по свидетельству одного из современников, говорил, что «думает, что это должно кончиться эшафотом». Чтобы ни выражали слова «должно кончиться [doit finir]» — точку ли зрения историка или его предсказание на будущее, — это суждение более чем многозначительно.

Однако «эшафот» был «должным» и неизбежным исходом дела только для небольшой и сильно европеизированной верхушки. Чуть ниже по социальной лестнице речь велась о совсем других мерах. В своем памфлете на Сперанского Г. П. Ермолов, дальний родственник знаменитого генерала, писал, якобы обращаясь к ссылке: «Презренный повсюду и всеми сословиями, готовыми растерзать тебя на части, истребить с лица земли своей прах твой, вот тебе награда за твои беззакония, злодеяния, которые уготовлял ты России, а еще большее наказание впереди ожидает тебя, яко изверга, посягнувшего на все Ему угодное».

Формулы типа «растерзать на части» и «истребить с лица земли прах» вовсе не были лишь риторическими клише. Сперанского повезли в ссылку в Нижний в обход Москвы, где ходили слухи, что как только он и высланный с ним Магницкий «въедут в Москву, то будут растерзаны народом». До Вигеля дошли разговоры, что и в Нижнем Сперанский «едва не был умерщвлен разъяренной чернью». Трудно сказать, в какой мере подобные агрессивные намерения в адрес павшего фаворита действительно были распространены среди низших сословий. Известно, что в ссылке Сперанский проводил много времени в прогулках и общении с простонародьем и, по-видимому, не находил это занятие особенно опасным. Все без исключения свидетельства о всеобщей ненависти, которыми мы располагаем, исходят из дворянской среды, артикулировавшей подобным образом свои представления о народе и формах проявления народного единства.

Позже в «Записках о 1812 году» Ростопчин с каким-то простодушным цинизмом назвал кампанию против Сперанского «темной интригой» и утверждал, «что был одним из наиболее изумленных, когда <...> узнал о его высылке». «К несчастью, — писал он, — <...> Сперанский прослыл за преступника, за предателя своего царя и отечества, и люди простого сословия заменяли его именем имя Мазепы, которое есть эпитет изменника». Представления, в создании и распространении которых Ростопчин принял самое деятельное участие, были им вновь приписаны невежеству «людей простого сословия». Подобный при-



ем был достаточно характерен для Ростопчина. Во второй половине августа 1812 г., незадолго до Бородинского сражения, он арестовал в Москве более сорока живших там французских обывателей, посадил их на барку и при огромном скоплении народа отправил вниз по реке, сопроводив эти действия в высшей степени выразительным напутствием: «Французы! Россия дала вам убежище, а вы не переставали злоумышлять против нее. Чтобы избежать кровопролития, не зачернить страницы нашей истории, не подражать сатанинским бешенствам ваших революционеров, правительство вынуждено вас удалить отсюда. Вы будете жить на берегу Волги посреди народа мирного и верного своей присяге, который слишком презирает вас, чтобы делать вам вред. Вы на некоторое время оставите Европу и удалитесь в Азию. Перестаньте быть негодьями [mauvais sujets] и сделайте хорошими людьми, превратитесь в добрых русских граждан из французских, какими вы до сих пор были; будьте спокойны и покорны или ждите еще большего наказания».

В воспоминаниях Ростопчин писал, что сделал это, «получив доказательство тому, до какой степени народ был взволнован, <...> для того, чтобы успокоить его и усыпить его ярость». Однако даже такой его безусловный единомышленник и почитатель, как Сергей Глинка, утверждал, что опасности народного самосуда не существовало: «Я жил с народом на улицах, на площадях, на рынках, везде в Москве и в окрестностях Москвы, и живым Богом свидетельствую, что никакая неистовая ненависть не волновала сынов России». Вне зависимости от того, кто из мемуаристов правильней оценил настроения москвичей, несомненно, что Ростопчин исполнял свою давнюю программу. Напомним, что еще в 1806 г. во время сбора ополчения он требовал от Александра выслать из Москвы всех французских, не делая никаких исключений. Точно так же на протяжении всего пребывания в должности московского генерал-губернатора Ростопчин с неослабевающей энергией преследовал мартинистов. Об интригах мартинистов и иллюминатов он писал императору на второй день после своего назначения, и чем ближе подходила к Москве наполеоновская армия, тем больше сил и времени уделял он внутреннему врагу. Самовольно выслал почт-директора Ф. П. Ключарева в Воронеж, Ростопчин писал Александру, что это было с его стороны «единственным средством предупредить замыслы мартинистов, которые доведены уже до того, что угрожали несчастьем России, а вам — участью Людовика XVI. Со временем вы увидите, государь, что эта ужасная секта благорасположила вас к ней посредством тех, кои сами к ней принадлежали». В контексте ранее переданной императору «Записки о мартинистах» последняя фраза этой тирады отчетливо метила в Сперанского. Опальный фаворит

и в ссылке не давал покоя Ростопчину, писавшему Александру, что от «первого до последнего и по всей России его считают изменником», и предупреждавшему о смертельной опасности, исходившей от изгнанника. В августе 1812 г. он вновь без всякой санкции императора послал нижегородскому генерал-губернатору предписание отправить Сперанского в Москву. Требование доставить государственного преступника в город, к которому подходят неприятельские войска, выглядит по меньшей мере загадочно. Единственно, на наш взгляд, возможное объяснение этому странному поступку Ростопчина дал М. А. Корф: «Но здесь рождается вопрос, и в этом мы и полагаем важность факта, с какой же целью Ростопчин отважился на такой самовластный поступок? Без сомнения, с одной только <...> чтобы ненавидимого народом предать на жертву возбужденным страстям, подобно несчастному Верещагину». <...> Верещагинская история вызвала высочайшее неудовольствие. «Его казнь была не нужна, особенно ее отнюдь не следовало производить подобным образом», — писал Александр Ростопчину 6 ноября 1812 г. «Повесить или расстрелять было бы лучше», — добавил император со свойственным ему человеколюбием. По мнению многих современников, именно эта расправа стала причиной немилости государя к Ростопчину. Нам не суждено узнать, почувствовал ли Александр, что кровавый балаган, разыгравшийся перед домом московского генерал-губернатора, был зловещей пародией на изысканную жертву во имя единения сословий вокруг трона, которую он принес в своем кабинете почти полугодом раньше. Во всяком случае, вернувшись в Россию из покоренного Парижа, он поспешил отправить Ростопчина в отставку. Указ о его отстранении от должности московского главнокомандующего был подписан 30 августа 1814 г. На следующий день, 31 августа, государь разрешил Сперанскому покинуть место ссылки. Народная война окончилась.

